

Ю. М. ЛОТМАН

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
К „ПУТЕШЕСТВИЮ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ“

«Путешествие из Петербурга в Москву» комментировалось неоднократно.¹ Прделанная в этом направлении работа прояснила многие скрытые смыслы произведения Радищева. Однако нельзя не отметить, что полного научного комментария к тексту «Путешествия» все еще не имеется. И многочисленные бытовые реалии, и не оговоренные Радищевым прямо, но понятные современникам цитаты и реминисценции, обильно встречающиеся в тексте книги, все еще остаются нераскрытыми. Вопрос этот шире, чем потребность объяснить то или иное темное место «Путешествия», — в результате перед нами не раскрывается до конца *мир Радищева*.

Мы все еще не можем составить исчерпывающий список книг и авторов, которые находились в его поле зрения. А в этом кругу мы не можем точно, а не «на глазок», сказать, чьи имена ему чаще приходили на перо, на чьи авторитеты он любил ссылаться, какие тексты цитировал наизусть, а что по книгам, когда пользовался подлинниками иностранных произведений, а когда — переводами.

Настоящая статья не может претендовать на решение этой задачи. Цель ее — лишь привлечь внимание к некоторым нераскрытым цитатам и реминисценциям в тексте «Путешествия».

В ранних редакциях главы «Крестьяцы» после слов: «...отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками но посредством лап своих любимцев» — следовало: «...и отходя от века сего дает в наследие внукам твоим село, зовомое село крови» (I, 422). Место это комментировалось лишь Л. И. Кулаковой и В. А. Западным, которые название села сочли изобретением

¹ См.: Барсков Я. Л. 1) Комментарий. — В кн.: *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Т. II. Материалы к изучению «Путешествия». М.—Л., 1935; 2) Примечания. — В кн.: *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938; *Кулакова Л. И., Заповод В. А.* А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Комментарий. Л., 1974, а также ряд одноименников и отдельных изданий.

Радищева и пояснили его следующим образом: «Значимое название деревни впервые появилось в „Отрывке путешествия в*** И*** Т***“, который был напечатан в 1772 году в журнале Н. И. Новикова „Живописец“, но, по мнению многих исследователей, принадлежит Радищеву <...>. В „Отрывке“ говорилось о деревне Разоренной. „Село Крови“ звучит еще сильнее».²

К сожалению, с предложенной интерпретацией согласиться никак нельзя. «Село Крови» — простая цитата. Название это не сочинено Радищевым, а взято из Евангелия: в гл. 27 (ст. 5—8) Евангелия от Матфея читаем рассказ о том, как Иуда «повергъ сребреники въ церкви, и отиде, и шедъ оудавися. Архїерее же прїемше сребреники, рѣша, недостойно есть вложить ихъ в корвану, понеже цѣна крове есть. Совѣтъ же сотворше, купиша ими село скуделниче, в погребаніе страннымъ. Тѣмъ же наречеса село то, село Крове, до сего дне». Это же название повторено в Деяниях Апостолов гл. 1, ст. 19, где говорится, что место то было названо «Акелдама — село Крове».

Следовательно, у нас нет оснований в данном случае для сопоставления с «Отрывком путешествия в*** И*** Т***». Зато мы можем сделать некоторые наблюдения над сущностью мысли Радищева. Речь идет о, казалось бы, вполне законной операции — покупке имения. Однако для Радищева это равносильно приобретению села на деньги, оплаченные кровью Христа. Это объясняется тем, что из контекста понятно, что покупатель приобрел средства к покупке ценой фавора или близости к фавориту, давших ему возможность «с приятной улыбкою отнимать <...> имение, честь, отравлять и резать людей». Здесь мы сталкиваемся с перефразировкой часто встречающейся у Радищева триады «имение — честь — жизнь» как суммы неотъемлемых прав человека. «Отъявйи единое из сих прав у гражданина, государь разрушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право ко престолу» (III, 15).

Соединение евангельской цитаты с просветительской формулой прав человека служит у Радищева идее незаконности деспотического порядка и ответственности государя за обогащение фаворита «ценой крови».

Радищев несколько раз подчеркивал, что в момент свержения деспотизма убийство гражданами тирана становится коллективным поступком, в котором *все и каждый* принимают личное участие:

В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж *всяк* спешит.³

(I, 5)

В «Путешествии из Петербурга в Москву» эта мысль выска-

² Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев... с. 149

³ Курсив мой. — Ю. Д.

зана в связи с описанием убийства асессора: «Они окружили всех четверых господ, и коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ценовидели они их, что ни один нехотел миповать, чтобы небыть участником в сем убийстве» (I, 274).

Напомним, что именно этот мотив встречается в описании смерти Цезаря у Плутарха: «Было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах<...> Цезарь, как сообщают, получил двадцать три раны. Многие заговорщики переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело».⁴

Цитата из Плутарха интересна во многих отношениях. Она не только объясняет идею многократности убийства тирана («Умри! умри же ты сто крат!») и приводит очевидную параллель к мысли о тираноубийстве как коллективном акте всех граждан — вспомним, что смерть Цезаря была для всей европейской культуры своеобразной моделью гибели тирана, — но и воскрешает древний мифологический образ причастия жертвенной кровью.

Отождествление тираноборческого акта с кровавым жертвоприношением включало эту политическую категорию в более широкий культурный контекст и подсказывало ряд прочно сложившихся вековых ассоциаций. Задавалась исходная возможность двоякой интерпретации: просветительская культура XVIII в. с ее отталкиванием от христианской морали и ориентацией на античную языческую традицию воспринимала идею жертвоприношения как *ритуальное заклятие тирана*. Романтическая традиция, отмеченная противоречивым сочетанием субъективизма и возрождения ориентации на христианское средневековье, истолковывала жертву как «кровавое причастие» — *ритуальное самозаклятие героя*:

Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?⁵

Причем в обоих случаях был ощутим момент ритуальности этого акта.

С этими представлениями связана, с одной стороны, процедура поименного и персонального голосования в Конвенте вотума казни Людовику XVI. Перед лицом Франции депутаты Конвента совершали публичный обряд личной причастности к смерти короля.

С другой стороны, именно этой связью понятий объясняется отождествление в кишиневской поэзии Пушкина тираноубийства и причастия, кровавой эвхаристии («как бы вкусят жертвенной крови», по словам Плутарха).

⁴ Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. II. М., 1963, с. 490.

⁵ Рылеев К. Ф. Поэтич. собр. стихотворений. Л., 1971, с. 233—234.

Вот эвхаристия [другая]. . .
... мы счастьем насладимся,
Кровавой чашкой причастимся —
И я скажу: Христос воскрес.⁶

Следует отметить, что восходящая к Плутарху идея Радищева рисовала героическое тираноубийство в совершенно ином виде, чем тот, который оно приняло позже в сознании романтиков. Здесь акт этот мыслился как общенародный и исключал разделение граждан на активное меньшинство и пассивную массу. В романтическом сознании декабристов тираноубийство мыслилось как героико-индивидуалистический поступок, совершающийся на глазах пассивного народа, а иногда — и вопреки его рабскому противодействию:

Несмотря на хлад убийственный
Сограждан к правам своим,
Их от бед спасти насильственно
Хочет пламенный Вадим.⁷

Противопоставление одного героя, погибающего в борьбе, и пассивной массы, наслаждающейся плодами его поступка, отчетливо проявилось в словах А. Бестужева по поводу убийства Настасьи Минкиной (сохранились в пересказе Батенькова): «Решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе 50 миллионов».⁸ В связи с этим принципиально по-разному решалось Радищевым и декабристами соотношение тираноубийственного акта и революции — активности одного и активности всех.

Для декабристов выступление русского Брута могло оцениваться двояко: до возникновения идеи военной революции оно было ее заменой; убийство тирана само по себе означало переворот и делало революцию излишней. В дальнейшем тираноубийство стало осмысляться как поступок героический, но чуждый народной этике. Поэтому покушение на императора хотя и должно было послужить сигналом к началу военной революции, но организационно выводилось за ее пределы. Оно поручалось группе обреченных, *une cohorte perdue*, связь которых с революционной организацией должна была быть скрыта не только от народа, но и от потомства.

Для Радищева казнь тирана не является начальным сигналом к народному выступлению. Роль инициатора играет мыслитель, который провозгласит слово истины: «Он молвит, вольность пропекая». Казнь же царя не начинается, а венчает революцию, представляя ее вершину и общенародное действие.

В этом смысле пушкинская эвхаристия кровавой чашей связывается с концепцией, далекой об общих настроений декабристов

⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. II, кн. 1. М.—Л., 1947, с. 179.

⁷ Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений, с. 329.

⁸ Цит. по: Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. М., 1936, с. 215.

(сочетание «кровавой чаши» и формулы «мы жизнью насладимся» очевидно свидетельствует, что речь идет о причастии не своей кровью, а кровью деспота). В сопоставлении с тираноубийственными размышлениями Пушкина в Петербурге 1819—1820 гг. это существенный и резкий сдвиг.

В главе «Хотиллов» имеется фраза: «Везде я обретал расположения человеколюбиваго сердца, везде видел гражданина будущих времен» (I, 322). Выражение «гражданин будущих времен» не прошло незамеченным. Содержательная емкость его привлекала внимание, его применяли как характеристику и к самому Радищеву.⁹ Не было, однако, отмечено, что выражение это встречается и в других текстах. Грибоедов в наброске плана трагедии «Родамист и Зенобия» характеризует римского гражданина Касперия: «В самовластной империи, — опасен правительству, и сам себе бремя, ибо иного века гражданин». В обоих высказываниях — Радищева и Грибоедова — явно ощущается автобиографический оттенок. Но это не отменяет их очевидной цитатности. Возможно, Грибоедов цитировал «Путешествие», однако он, бесспорно, знал и источник — трагедию Шиллера «Дон Карлос».

В знаменитой сцене свидания короля и маркиза Позы есть реплика последнего, которая в русском переводе В. Левика звучит так:

... для моих священных идеалов
Наш век еще покуда не созрел.
Я гражданин грядущих поколений.¹⁰

Однако немецкий оригинал еще ближе к выражению Грибоедова, поскольку упоминает не «поколения», а «век»:

... Das Jahrhundert
Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe
Ein Bürger derer, welche kommen werden.¹¹

Указание на источник цитаты влечет за собой ряд существенных последствий. Это не только первый в России отклик на «Дона Карлоса», но и единственное свидетельство интереса Радищева к Шиллеру. До сих пор предполагалось, что «Письма русского путешественника» и кружок Дружеского литературного общества — единственный документально засвидетельствованный путь «Дона Карлоса» в Россию.¹² Цитата эта имеет и другое значение, поскольку позволяет внести уточнения в сложный вопрос датировки «Хотилова».¹³

⁹ См.: Берков П. Н. «Гражданин будущих времен». — Изв. Отд-ния лит. и яз. АН СССР, 1949, т. VIII, вып. 5, с. 401—416.

¹⁰ Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми т. т. II. М., 1955, с. 148.

¹¹ Schiller F. Gesammelte Werke, Bd III. Berlin, 1954, S. 130.

¹² См.: Harder H.-B. Schiller in Rußland. Materialien zu einer Wirkungsgeschichte (1789—1814). Berlin—Zürich, 1969, S. 21—23, passim.

¹³ Вопрос о путях проникновения цитаты в текст Грибоедова требует специального исследования. Кроме бесспорно известных Грибоедову «Путе-

Однако значение обнаружения источника не сводится к сказанному. То, что автор «проекта в будущем», составляющего содержание главы «Хотилов», в сознании Радищева ассоциировался с маркизом Позой, проясняет многое в авторском замысле этой вызывающей столь значительные споры главы.

Формула «гражданин будущих времен» могла привлечь внимание Радищева еще и поскольку она была очевидной антитезой известного выражения Руссо в «Рассуждении о происхождении неравенства между людьми» — «человек времен уже минувших» («l'homme d'un temps qui n'était plus»¹⁴). Руссо говорил о том, что попытка Диогена найти человека была безнадежной, поскольку, живя в эпоху порока, он искал добродетельного человека времен минувших. В формуле Радищева (и Шиллера) — двойная антитеза: «человек» — «гражданин» и «миновавшее» — «будущее». Оба противопоставления исполнены смысла: идеал Руссо в этом трактате именно «человек», а не «гражданин», — существо Природы, а не Общества. Лежит этот идеал в прошедшем. Радищев, в отличие от Руссо считавший, что понятие «гражданина» не исключает, а включает в себя «человека», полагал также, что антитезой рабскому настоящему является будущее. В свете расхождений с Руссо цитата из Шиллера приобрела особый смысл.

В главе «Чудово» Радищев процитировал эпизод из «Истории обеих Индий» Рейналя о гибели пленных англичан в калькутской «черной яме». Эпизод этот привлек специальное внимание Екатерины II, которая заметила: «... il cite un fait atroce».¹⁵ Последующие комментаторы отмечали, идя за ссылкой Радищева, значение Рейналя для антидеспотической концепции «Путешествия». Однако для понимания этого места не лишено значения то, что процитированный Радищевым эпизод фактически принадлежит не Рейналю. Во втором томе книги Гельвеция «О человеке, его умственных способностях и воспитании» этот эпизод включен автором в рассуждение о природе деспотизма: «Англичане, посаженные в форту Вильгельма войсками вице-короля Бенгалии Суба, были захвачены в плен. Запертые в калькутской черной яме, они были в количестве 146 человек стиснуты на пространстве в 18 квадратных футов. Эти несчастные

шествия» и немецкого текста «Дона Карлоса» в поле его внимания мог быть также французский перевод пьесы Шиллера, где интересующая нас реплика звучит так:

Je suis un citoyen de l'avenir.

(Don Carlos, Infant d'Espagne, par Frédéric Schiller, traduit de l'allemand par Andrieu Lezay. A Paris, [1799—1800], p. 209).

¹⁴ См.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 96; Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau, vol. I. A Paris, 1825, p. 324.

¹⁵ Цит. по: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Т. II. Материалы к изучению «Путешествия». М.—Л., 1935, с. 366.

в наиболее жарком климате мира и в самый жаркий сезон этого климата получали воздух лишь через одно, наполовину заткнутое прутьями окно. Только вступив туда, они сделались жертвами жажды и начали обливаться потом. Они задыхались, испускали ужасные вопли, умоляя, чтобы их перевели в более обширную темницу. Их жалобы были напрасны. Они пробовали вызвать движение воздуха, обмахиваясь шляпами, — бесполезно. Они теряли сознание и умирали. Те, кто были еще живы, пили свой пот, снова умоляли о воздухе и о том, чтобы их разместили в двух камерах. С этой просьбой они обратились к Еман-даару — одному из стражей тюрьмы. Сердце стража смягчилось жалостью и жадностью. За большую сумму он согласился известить Суба об их состоянии. Когда он вернулся, еще живые англичане, окруженные трупами, умоляли, чтобы им дали воздуха, чтобы им отворили темницу. „Несчастные, — сказал страж, — умирайте. Суба почивает. Какой раб осмелится прервать его сон?“. Таков деспотизм».¹⁶

Рейналь, который был в значительно большей мере компилятором, чем оригинальным автором, перенес этот эпизод в свою книгу.

Радищев, конечно, хорошо знал эту работу Гельвеция — автора, неизменно привлекавшего его внимание. С этим, возможно, связано то, что на месте этого эпизода первоначально была фраза: «Чем же мы можем преимуществовать перед непросвещенными азийскими правлениями?» (I, 415). Высказывание это непосредственно связано с той же работой Гельвеция. Здесь, полемизируя с Руссо, автор доказывал, что невежество и непросвещенность рождают не свободу, а рабство. При этом он ссылался на «восточный деспотизм», связывая его не с климатом и величиной территорий, а именно с «непросвещенностью правлений».

Весьма существенно то, что эпизод этот появляется у Гельвеция не как простая иллюстрация к идее деспотизма, а в связи с развернутой полемикой против культурпессимизма Руссо: «„Знание развращает нравы“. Но на чем основывается это утверждение? Чтобы добросовестно придерживаться этого парадокса, следует никогда не обращать взоров к империям Константинополя, Исфагани, Дели, Марокко и, наконец, к любой из этих стран, где невежество в равной мере царит и в хижинах, и во дворцах».¹⁷

Пolemика Гельвеция против Руссо, бесспорно, интересовала Радищева. Прямые ее следы мы видим в главе «Крестыцы». Все это делает вероятным предположение, что эпизод с «черной ямой» в Калькутте потому привлек внимание Радищева при чтении книги Рейналя, что он запомнился ему еще по книге Гельвеция.

Однако в радищевской реминисценции содержалась и скрытая полемика с Гельвецием: относя Индию к странам непросве-

¹⁶ Oeuvres complètes de M. Helvétius, vol. IV. A Liège, 1774, p. 75—76.

¹⁷ Там же.

щения и деспотизма, французский философ, правда в сдержанной и осторожной форме, намекнул, что Россия, которую просветил Петр I, должна быть исключена из этого ряда. Радищев прямо отождествил Россию с «азиатским правлением».

Цитируя полемические выпады Гельвеция против Руссо, Радищев одновременно использовал в «Путешествии» цитаты и из произведения женеvского мыслителя. Нам уже приходилось указывать на использование в главе «Новгород» положений из трактата «Об общественном договоре».¹⁸ Однако в данной связи более интересны ссылки на ранние трактаты как непосредственную причину нападок Гельвеция.

В главе «Крестыцы», изложив свойственную материалистам XVIII в. концепцию отношений между родителями и детьми как основанных на выгоде и собственном интересе каждой стороны, Радищев переходит к теории подвига. Здесь он утверждает, что последование закону — первый долг человека в гражданском состоянии. Последование это не представляет трудностей в странах, где добродетель и закон не противоречат друг другу взаимно. «Но где таковое общество существует?». В случае же, когда закон «отлучает <...> от добродетели», последование ей остается неукоснительным правилом вплоть до того крайнего случая, когда добродетель предписывает гибель: «Умри.— В наследие вам оставляю слово умирающего Катона» (I, 292—295).

В трактовке героизма как особой проблемы социальной педагогики Радищев решительно разошелся с Гельвецием, и здесь ему потребовался такой союзник, как Руссо: весь приведенный выше ход рассуждения тесно связан с полемикой между Руссо и Бурдесом. Оппонент Руссо, засвидетельствовав свое уважение добродетелям Брута, Лукреции и Сцеволы (о Катоне он отозвался как о плохом гражданине), высказался в пользу государства, отличающегося твердым управлением, в котором граждане не имеют нужды в столь жестоких добродетелях. Руссо отвечал ему: «„Государство мощное и хорошо управляемое!“ — Что ж, я не против. — „Где граждане не были бы вынуждены прибегать к столь жестоким добродетелям“. — Согласен. Конечно, более удобно жить при таком порядке вещей, когда каждый избавлен от необходимости проявлять душевное благородство. Но если граждане этого вызывающего восхищение государства в результате некоего бедствия окажутся перед выбором: отказаться от добродетели или прибегнуть к этим жестоким доблестям, разве меньше будет оснований для восхищения, если они найдут в себе силы выполнить свой долг».¹⁹ Как пример и образец приводится Катон. Антитеза — подчинение закону, влекущее за собой раб-

¹⁸ Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII—начала XIX века. — В кн.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты, с. 565. Ср.: Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев..., с. 122.

¹⁹ Oeuvres complètes de J.-J. Rousseau. vol. I, p. 163.

ство, или следование добродетели и гибель, равно как и пример Катона, оказались близки Радищеву и повлияли на речь крестницкого дворянина.

Крайне интересно, что в поисках отправной точки для рассуждений Радищев обратился не к «Общественному договору», с известной долей догматизма излагающему нормы идеального общественного порядка, а к более ранней полемической брошюре, где внимание было обращено на разрыв между идеальным царством добродетели и политической реальностью XVIII в. и как следствие этого на то, что нормой поведения гражданина является не покой и счастье, а героизм и гибель.

В главе «Едрово» путешественник предлагает матери крестьянской девки Анюты сто рублей приданого, без чего свадьба не может состояться. Крестьянка отвечает ему суровой отповедью: «И на том спасибо. Приданова бояре девкам даром недают. Если ты над моей Анютой что сделал, и за то даешь ей приданое, то Бог тебя накажет за твое безпутство; а денег я не возьму. Если же ты доброй человек и неругаешься над бедными, то взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают» (I, 307). Далее автор рассуждает о бескорыстии крестьян, сопоставляя его с нравственным падением жителей городов, в особенности дворян.

Эпизод этот производит в достаточной мере литературное впечатление: противопоставление нравственности и душевной чистоты поселян разврату городских жителей, дворян или придворных стало общим местом массовой французской литературы середины XVIII в., перекочевав со страниц памфлетов Руссо и сочинений энциклопедистов на листы многочисленных брошюр и на подмостки театров, ставивших популярные однодневки Бонуара, Шарля Саблье, Мерсье и др.²⁰

Тем более интересно сопоставить его с отрывком из «Записок» И. В. Лопухина. Эпизод, который мы цитируем ниже, имел место во время сенатской ревизии 1800 г. и, следовательно, никакого воздействия на автора «Едрова» оказать не мог. Он интересен как свидетельство того, что книжность и жизненность отнюдь не обязательно являются взаимоисключающими началами. В «Записках» Лопухина читаем:

В городе Вятке, который тогда по крайней мере похож был больше на богатое село, нежели на губернский город, обычай у поселянских девок торговать калачами, булками, пряниками и всякой мелочью. Они сидят все рядом в лубочных своих лавочках, которые называются балаганами, и их несколько десятков, может быть и под сотню. В пених своих прогулках часто я покупал у них калачи или булки, давая им всегда по несколько копеек лишних. Однажды, покупая у одной из них, девки лет восемнадцати, не красавицы, однако лица приятного, и приметив из раз-

²⁰ См. подбор пьес этого рода в кн.: *Иванов Ив.* Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII века. — Учен. зап. имп. Моск. ун-та, отдел историко-филологич., 1895, вып. XXII, с. 453 и др.

говора с нею, что она отменно не глупа, подарил я ей на расторжку пятирублевую бумажку. Девка очень обрадовалась. Пять рублей калашнице капитал.

На другой день поутру сказывают мне, что пришел мужик, имеющий нужду говорить со мною. Я его к себе позвал. Мужик в слезах мне в ноги: «Помилуй батюшка, спаси дочь мою; ты погубил ее — она хочет удавиться или в Вятку (реку) броситься. Вчера ты ей пожаловал пять рублей, так все девки товарки ее целый день ей житья не давали: „Ты была у сенатора, да и только, за что ж бы ему пожаловать тебе пять рублей?“. Дочь моя воеет, в удавку лезет, не можем уговорить ее, мать от нее не отходит».

Смешно, правда, было подозрение меня в таком молодечестве, однако тревога мужика с его семейством была для меня еще чувствительнее. «Неужель ты этому веришь? — говорил я ему. — Да если б дочь твоя была у меня, так я бы ей пять рублей или больше дал у себя, а не в балаганах при всех! — Родимый, — говорит мне мужик, — да кто этому поверит! Мы знаем, что неправда, — да проклятые-то завистницы ее с ума сводят, а она девчонка молодая, глупая; помилуй батюшка!» — кричит мой мужик, валяясь в ногах.

Даю ему деньги — не берет. Давал ему уж столько, что по состоянию его дочери могло бы составить изрядную часть ей приданого: мужик все не берет, а только кричит: «Помилуй, спаси дочь мою; не быть ей живой: она удавится, не век сидеть над ней; а хоть и сидеть, то все она сойдет с ума от печали».

«Что ж мне делать? — я говорю ему, — не жениться же на ней. Я подарил ей от доброй души — а уж это несчастье, что с нею случилось. Дай мне подумать, авось как-нибудь поправим: приди ко мне завтра». И на силу уговорил я его отойти от меня до завтра.

Между тем, видя такое беспритворное огорчение и находя себя, хотя и невинного, однако причиню тому, был я очень неравнодушен. Думал и не знал, чем поправить. Денег не пожалел бы я, и много, да целомудренной калашнице с отцом ее ничего было не надобно. Вдруг пришла мне мысль, которой исполнение все дело исправило.

Послал я в казенную палату несколько сот рублей разменять на пятирублевые ассигнации и, пошед разгуливаться, всякой девке-торговке подарил по пятирублевой бумажке на расторжку же. Отец отчаянной калашницы пришел ко мне на другой день не с тем уже, чтоб толковать о том, как уладить наши хлопоты, а благодарить меня, что успокоил я дочь его. «Бог тебя надоумил, родимый, — говорил он мне, однако со слезами радости. — Теперь уж ее не дразнят; все девки веселы и с нею ватажатся; и никто уж на нее не думает, а всяк говорит, что ты это жалуешь только из милости».

Признаться, что и мне весело стало. Хотел я, однако, отдать мужику то, что прежде давал ему на приданое дочери его, такой честной девушке, но он никак не соглашался принять, кланяясь и говоря очень искренним голосом: «Помилуй, батюшка, уволь: ведь охять то же баить (говорить) станут».²¹

Эпизоды из «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Записок» Лопухина красноречиво дополняют друг друга, показывая, как сложно переплетаются книжно-теоретические конструкции и реально-бытовые наблюдения и какую осторожность должен проявлять историк, пытаясь отделить первые от вторых.

Мы не умножаем дальнейших примеров, поскольку для того, чтобы исчерпать перечень непрокомментированных мест «Путе-

²¹ Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленные им самим, с предисловием Искандера. Лондон, 1860, с. 98—100

шествия», потребовался бы значительно больший объем, чем тот, которым мы располагаем, а для демонстрации актуальности создания отвечающего научным требованиям полного комментария к книге Радищева, кажется, довольно сказанного.

Хотелось бы обратить внимание на одну особенность приведенных выше наблюдений.

В отнюдь не исчерпывающем списке текстов, цитируемых Радищевым, нам сразу же попались Евангелие и Плутарх, Гельвеций, Руссо и Шиллер. Если бы мы задались специальной целью собрать контрастные и взаимоисключающие имена, трудно было бы предложить более яркий список. Одни цитаты ведут нас к выступлениям Гельвеция против Руссо, а другие — к текстам самого Руссо. В этой противоречивости набора имен, видимо, следует видеть не случайность, а некоторую сознательную установку. Показательно, что первая строка — эпитафия «Путешествия» — отсылает нас к Тредиаковскому, а последняя глава — к Ломоносову. То, что Радищев ясно осознавал противоположность традиций, идущих от этих писателей, явствует из «Памятника дактилохорейческому витязю».

Раскрытие цитат и реминисценций не только способствует пониманию отдельных мест текста, оно раскрывает также сознательную или бессознательную ориентацию автора на ту или иную культурную традицию. Если взглянуть на вопрос с этой точки зрения, то перед нами окажется картина, способная вызвать замешательство: Радищев обращается к именам, ориентации на которые, казалось бы, должны были взаимно исключать друг друга. Это было бы объяснимо, если бы собственная позиция Радищева отличалась эклектичностью и неопределенностью. Однако такое утверждение было бы прямо противоположно истине: собственная система Радищева органична и скорее отличается рационалистической жесткостью, чем диффузностью. Для писателя характерна принципиальная установка на синтетический подход к традиции предшествующей культуры. Синтетизм этот заключается в стремлении в разнообразных завоеваниях европейской и мировой культуры выделить общее и плодотворное ядро, не разделить, а синтезировать различные течения культуры. Те философы, которые в контексте западной культуры выглядели как противники (например, Гельвеций и Руссо), в русской радищевской версии оказывались глубоко родственными проявлениями единого культурного архетипа. Причем принципиальность такого подхода проявлялась в том, что взгляд этот включал полную осведомленность в расхождениях, полемике или даже враждебности этих течений в их «естественных» контекстах и тонкое понимание различий и оттенков мысли.

Установка на синтетическое восприятие культурной традиции делает Радищева одним из зачинателей исключительно важной тенденции в истории русской общественной мысли.